

Александр Куприн

К славе



Александр Куприн
К славе

«Public Domain»

1894

Куприн А. И.

К славе / А. И. Куприн — «Public Domain», 1894

«Когда я вышел в 18** году из Земледельческой академии, мне пришлось начинать мое жизненное поприще в невероятной глуши, в одном из пограничных юго-западных городков. Вечная грязь, стада свиней на улицах, хатенки, мазанные из глины и навоза...»

© Куприн А. И., 1894

© Public Domain, 1894

Александр Иванович Куприн

К славе

Когда я вышел в 18** году из Земледельческой академии, мне пришлось начинать мое жизненное поприще в невероятной глуши, в одном из пограничных юго-западных городков. Вечная грязь, стада свиней на улицах, хатенки, мазанные из глины и навоза... Общество в таких городишках известно: мировой посредник, исправник, нотариус, акцизные чиновники. Спайки в этом обществе не было никакой; все глядели врозь, и причиной этому, конечно, были женщины. Сначала заведется адюльтер, потом недоразумение из-за того, кому первому подходить в соборе ко кресту, потом чреватая всякими бедами сплетня. Сыщутся непременно свои Монтекки и Капулетти, и за их враждой весь город следит с животрепещущим интересом. Словом, все разъехалось и расклеилось. Приехал к нам новый следователь.

Есть, знаете ли, такие универсальные люди, которые умеют как-то сразу, с одного маху, очаровать самое разнохарактерное общество. Я думаю, что их тайна очень проста и заключается только в умение слушать. Чутьем каким-то угадает он ваше слабое место, подведет к нему разговор и тогда уж только слушает терпеливо. Вы перед ним самые лучшие перлы души высыпаете, а он знай себе головой кивает да погмыкивает. Этим, впрочем, одним таланты следователя не исчерпывались. Он умел до колик смешить дам, мог хорошо выпить и в холостой компании прекрасно рассказывал скабрзные анекдоты.

Следователь сделался первым звеном сближения общества. Может быть, он сделался им даже невольно, потому что все взоры на него устремились с ожиданием чего-то нового и веселого. Началось с любительских спектаклей.

Когда дело было совсем уж поставлено на ноги, то и меня к нему притянули, но я, к счастью, оказался с первых же шагов никуда не годным. Дали мне в глупейшей переводной драме роль ревнивого мужа, самую бесцветную и длинную роль во всей пьесе. Вы и представить себе не можете, с какой кротостью я переносил на репетициях всякие издевательства. Кто только не учил меня, кто надо мной не ломался! И режиссер, и суфлер, и любительницы, и даже, я помню, один гимназист четвертого класса, говоривший сиплым басом и носивший пенсне. Особенно не давалось мне то место, когда я узнаю о неверности жены и «с ужасными жестами отчаяния» (так стояло в пьесе) кричу ей: «О, проклятие! Каждый раз, когда я вспомню о своем позоре – я трепещу от негодования!» Как дойдет до этого места, – любительницы смеются, а режиссер кричит: «Вы как манекен держитесь! Видите сами, – здесь ремарка: „жесты отчаяния“. Смотрите на меня. Вот как нужно жестикулировать!»

Пришел ожидаемый день спектакля. Жутко было. А главное – чем ближе подходит пьеса к роковому месту, тем больше я чувствую, что оно меня зарежет. Наконец сценариус выталкивает меня в спину из-за кулис. Я стремглав вылетаю, ворочая глазами, вспоминаю режиссерские указания и делаю первый жест отчаяния. Но в это мгновение я, к ужасу своему, чувствую, что убийственные слова совсем вылетели из моей памяти. Ну вот не могу припомнить и – баста! Прошла минута, может быть, две, – для меня этот ужас длился целые годы. Я стою, окаменев в отчаянной позе, и молчу, и ничего не слышу, кроме звона в ушах. Наконец из суфлерской будочки до меня доносится: «О, проклятие, каждый раз...» Я делаю последнее, невероятное усилие, хватаю себя за волосы и диким голосом на весь театр кричу: «О, проклятие! Каждый раз, когда я вспомню о своем трезоре, я попищу от негодования!» Ну, понятное дело, меня из кружка в тот же вечер выгнали с величайшим триумфом, а переверканная фраза обрательась в анекдот, и я не удивлюсь, если кто-нибудь из вас его уже слышал.

Таким образом, я остался в стороне. Как и нужно было ожидать, на первый раз все единодушно решили поставить какую-то тяжелую драму, написанную суконным языком, и, кроме нее, конечно, водевиль. Не обошлось без интриг. Две дамы рассчитывали на главную драма-

тическую роль. Одна основывала свое право на том, что видела в этой роли Федотову, другая утверждала, что нарочно для этой роли заказала платье с кружевными оборочками и дамассе. Не раз дело расстраивалось и вновь склеивалось... В конце концов перед самым спектаклем барышня, которая должна была играть в водевиле, обиделась, закапризничала, заболела и отказалась. Отменить водевиль не было возможности, потому что афиши уже были напечатаны и часть билетов распродана. Никто не хотел идти на затычку по случаю отказа прежней исполнительницы. Тогда кто-то посоветовал просить Лидочку Гнетневу.

Может быть, господа, кому-нибудь из вас случалось встретить хоть раз такую женщину, которая промелькнет в вашей жизни, точно оссиановская тень, и навсегда останется в памяти, как далекое, милое, но странное сновидение? Пусть она на вас не обращала никакого внимания, пусть вы сами никогда и не пытались даже полюбить ее, пусть вы потом встречали женщин умных, чутких, красивых, – ни один образ не застелет этого неуловимо-своеобразного тонкого образа. Такою именно и была Лидочка. Я до сих пор необыкновенно живо умею представлять себе ее наружность: гибкое худощавое тело, властно очерченные брови, черные кудри, голубые жилки на висках, нервный некрасивый рот и в виде контраста к нему прекрасные темные глаза, суровые, почти скорбные, никогда не улыбающиеся. Отец Лидочки, служивший у нас уездным казначеем, жил открыто. Я часто, в продолжение многих лет, бывал у Гнетневых, и Лидочка на моих глазах из шаловливого котенка-подростка в коротких платьицах выровнялась в красивую девушку. Все в ней было очаровательно: и простая, внимательная отзывчивость на чужое горе, и грациозная прелесть каприза, и наивно-резкая правдивость, и застенчивость, и еще что-то, что сказывалось во всем ее существе: не то дерзость, не то какое-то жадное ко всему крайнему любопытство. Не умею я, черт возьми, всего этого, глубокого, передать, но таких женщин на каждом шагу не встретишь.

Сначала она наотрез было отказалась от предложенной роли и согласилась только после долгих упрасиваний. На репетициях я ее почти не видал, но догадывался издали, что Лидочку задело за живое. Обыкновенно она часто делилась со мной впечатлениями, и удивительно, как ясно и точно она умела передавать самые тонкие подробности, виденного, слышанного и пережитого. Я встретился с ней близко уже на самом спектакле, за кулисами, куда имел доступ благодаря тому, что принимал участие в писании декораций.

Столкнулись мы как раз перед ее выходом, в тесном коридоре, между стеной и кулисами. На ней было белое простенькое платье, схваченное в талии голубой ленточкой. Странно изменилось ее лицо под гримом: оно стало как будто незнакомым, черты его выяснились резче и красивей, глаза, подведенные и ярко блестевшие от внутреннего волнения и от темной краски, казались неестественно громадными.

– Что, – спросил я ее, – жутко приходится? Она прижала обе руки к груди и посмотрела на меня каким-то просящим о помощи взглядом.

– Страшно... Тут вот так и бьется... Я, кажется, откажусь выйти на сцену. Ну куда я дену свои руки и ноги? Боже мой, какое мученье!

Позвал ее сценарист. Я стал прислушиваться. Вместо веселых вступительных слов ее роли, вместо звонкого хохота, требуемого пьесой в этом месте, я услышал робко срывающийся, как будто чужой голос и невольно зажмурил глаза. Стыдно мне как-то стало за Лидочку и страшно. Я знал ее нервы и самолюбие и понимал, как она сама страдает от своей неловкости.

Несколько томительных секунд я ничего не слышал, а когда наконец боязливо заглянул из бокового марлевого окна на сцену, то так и окаменел от удивления. Лидочка не только оправилась, – она была неузнаваема. Каждое движение ее отличалось непринужденной и уверенной грацией, каждое слово произносила она именно так, как его произносят в обыденной жизни. Впрочем, не на одного меня Лидочка произвела такое впечатление. Я окинул глазами зрительную залу и увидел все давно знакомые лица оживленными и улыбающимися.

Вся роль Лидочки заключалась в каких-нибудь двух-трех десятках реплик, чрезвычайно живых и кокетливых. Когда она, напевая какой-то мотив и подбрасывая на ходу большой резиновый мяч, направилась к дверям, вслед ей раздались крики и шумные аплодисменты. Она вернулась и растерянно, немного по-институтски раскланялась. Ее вызвали еще и еще – раза четыре, кажется. Я стоял у дверей и отворял их. Она вышла задыхающаяся, со сверкающими глазами, с румянцем, выступившим даже из-под грима, с пересохшими от волнения губами. На мое поздравление она протянула мне обе руки.

Весь этот вечер Лидочка была чрезвычайно, даже, пожалуй, неестественно оживлена и часто смеялась нервным, беспричинным смехом. Я раза два подходил к ней и рассказывал что-то. Она слушала меня, не перебивая, но отвечала невпопад, глядела на меня неотступно, но в ее глазах сияло такое мечтательное счастье, губы складывались в такую блаженную улыбку, что мне становилось понятно, как далеко были ее мысли от моих рассказов. Она смотрела на меня, как смотрит замечтавшийся человек на отдаленный предмет, на какое-нибудь пятнышко на обоях: самого пятнышка не видишь, а оторваться от него невозможно.

Так и Лидочка, должно быть, все еще видела перед собой подмостки, возвышающие ее над сотнями голов, слышала оглушительный, пьянящий плеск аплодисментов, и ее опять тянуло к тому прекрасному сну, от которого она только что проснулась. Среди публики Лидочкин дебют положительно произвел эффект, и многие поспешили в тот же вечер высказать ей это в самых лестных выражениях. Мнение большинства обеспечило за ней на следующий спектакль трудную и выдающуюся роль: она должна была играть Офелию.

Взялась она за дело с той страстностью, с какой она хваталась за все для нее новое, и притом – так настойчиво, как трудно было от нее ожидать. Она даже осунулась и побледнела. Что она тогда чувствовала, как работало ее воображение – господь ее знает; никому она об этом не говорила. Но вероятно, в ее душе именно тогда и родился целый мир новых надежд и ощущений, имевший громадное влияние на всю ее последующую жизнь.

Наконец поставили и спектакль. Я был в числе зрителей – за кулисы меня больше уже не пустили, потому что пошли в театре строгие порядки, и спектакль ставил настоящий, заправский актер не без имени.

Лидочка, правда, не избегла общей участи дебютантов: говорила иногда слишком тихо, делала большие паузы... Но зато я видел настоящую Офелию, тот самый прелестный женственный образ, который нарисован Шекспиром. Она такой и явилась пред нашими глазами: нежной и робкой, любящей и в то же время жертвующей любовью ради придворного этикета и безусловного преклонения пред отцовскою моралью. Она не героиня: в ней скорее больше чисто детской доверчивости и податливости. По натуре она пряма и не умеет лгать, но привычка постоянно держаться на виду делает то, что любовь ее никому не кидается в глаза. Никому и в голову не приходит догадаться, что совершается в ее душе, до тех пор, пока долго скрываемая внутренняя борьба не разражается внезапным безумием. Тогда только каждый начинает понимать, что

Все это яд глубокой скорби сердца.

Лидочке устроили шумную овацию. Кто-то поднес ей громадный венок из живых цветов, перевязанный широкими розовыми атласными лентами. Я сам бесновался не хуже других, но все-таки успел заметить по той же блаженной улыбке на Лидочкиных губах, по загоревшимся щекам, что у нее закружилась голова. Я ее проводил домой поздно ночью, счастливую, обессиленную. Мы шли под руку. Было то время весны, когда только начинает распускаться сирень. В теплой дремлющей темноте ночи точно разливалась какая-то душистая, сладостная нега, точно веяло в лицо чье-то дыхание, и чьи-то жаркие губы, казалось, вот-вот приблизятся к губам.

Мы с Лидочкой шли очень скоро и далеко оставили за собой остальное общество. Я нагнулся и поглядел на нее сбоку: ее головка была закинута кверху, и глаза устремлены на мигающие серебряные звезды. Почувствовав мой взгляд, она вздрогнула и вдруг крепко прижала к себе мою руку.

– Холодно? – спросил я вполголоса.

– Нет, – говорит, – не холодно, а я от своих мыслей вздрогнула. Я об вас сейчас думала. Страшно мне и сладко от ее слов сделалось.

– Обо мне. Неужели – обо мне?

– Да, – о вас. Скажите, умеете вы вставать рано утром? Часов в шесть?

Я отвечал, что я не только в шесть часов готов встать, но даже... не помню, право, что я такое именно сказал; надо думать, что-нибудь очень глупое.

Мы в это время подошли к ихней калитке и остановились, чтобы подождать отставших. Она оглянулась назад, потом приблизила ко мне лицо и проговорила быстрым шепотом:

– Завтра... в нашем саду... Рано, рано... часов в шесть, в половине седьмого... Папа встает поздно.

И опять крепко пожала мне руку.

Надо сознаться, господа, что я в то время был чрезвычайно молод, непростительно молод. Домой дошел я точно на крыльях и, ей-богу, не могу сказать, спал или не спал в эту ночь. Бывает такое состояние: не то спишь, не то бодрствуешь, не то гредишь. Это – когда на душе есть какое-нибудь особенное, крупное впечатление. Понятное дело, я тогда же догадался, что уже давно влюблен в Лидочку (хотя, говоря откровенно, раньше этой любви не замечалось ни малейшего признака). Думал я всю ночь, как увижу ее завтра, робкую, краснеющую за свою вчерашнюю смелость, как я ей скажу, что полюбил ее с первого взгляда... Вот только меня останавливало, в какой форме сделать предложение? «Позвольте предложить вам руку и сердце?» Безобразно: точь-в-точь – приглашение на контрданс. «Хотите ли вы, Лидия Михайловна, быть моей женой?» Гм... Оно как будто бы и ничего, но для молодой девицы, пожалуй, немного деловито. А? Словом, в этом пункте я ни на каком ясном решении не остановился.

В шесть часов утра, точно от внезапного толчка, я проснулся с мыслью о Лидочке и о предстоящем свидании. Через несколько минут, вздрагивая от холода и молодого восторга, чувствуя свежесть и упругость во всех мускулах, я уже перепрыгивал одним махом забор Лидочкина сада.

Утро, как нарочно, выдалось прохладное, золотое, веселое, звонкое такое. Трава лоснилась, точно яркий зеленый шелк, и на ней там и сям дрожали, играя разноцветными огнями, крупные алмазы росы. Солнечные лучи, пробившись сквозь густую чащу липовой аллеи, ложились на песке дорожки круглыми движущимися пятнами. Мне казалось, что и птицы пришли в безумный восторг от этого чудесного утра, так они возились в кустах, так щебетали, свистели и чирикали. Боже мой! А у меня-то, у меня-то как в душе пелось, сколько во мне трепетало радости и силы!.. Был ли я когда-нибудь счастливее, чем в эти мгновения? Едва ли.

Я не успел еще пройти половины аллеи, как на другом конце показалась Лидочка. Она шла очень скоро, склонив, по своей милой привычке, голову немного вниз. Ее тоненькая, изящная фигурка в простом белом платье то мелькала в тени деревьев, то заливалась ярким золотым светом. Я пошел ей навстречу. Мне хотелось упасть к ее ногам, хотелось кричать, смеяться и петь. В ее глазах еще виднелось отражение утреннего сна; темные кудри, наскоро причесанные нетерпеливою рукой, падали на лоб небрежными локонами. Как она была прекрасна: свежая, розовая, смеющаяся!

Лидочка протянула мне обе руки. Я нагнулся, поцеловал сначала одну, потом другую. Она отняла руки и сказала: «Пойдемте дальше, здесь могут увидеть».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.